

---

# **ВЕСТНИК ЛИТЕРАТУРЫ**

---

1921 г.

№ 1 (25).

Г о д III.

По делам редакции обращаться к А. Е. Кауфману, ✠  
Петроград, Моховая 25/17, кв. 5. Телеф. 459-84. ✠ Отдельные №№ продаются в киосках Центропечати.

Цена номера 50 руб.

СО Д Е Р Ж А Н И Е: Литературное производство и сырье. А. Е. Кауфмана.—Есть ли будущее у русской литературы? П. К. Губера.—С. А. Толстая (по неопубликованным материалам). Н. А. Соколова.—Поэты Пушкинской поры. Н.-Д.—О системе социологии П. А. Сорокина. Проф. Н. И. Кареева.—Как не пишется история. А. Евгеньева.—Новые книги. Р. М. Кантора, В. А. Мазуркевича, А. Е. Кауфмана и др.—Книги о революции. Гроф. Н. А. Кареева.—Как живут и работают русские писатели: В. Г. Короленко, П. В. Быков и др.—Литература в провинции. Юрия Слезкина.—Памяти С. Ан-ского, И. С. Пальмова и Д. А. Кольцова: Ст. В. Кауфмана, К. Я. Грота и Л. Г. Дейча.—Литература за границу.—Литературная хроника.

---

## Памяти проникновенного сердцеведа.

(Из личных воспоминаний).

Сто лет тому назад у одного штаб-лекаря, служившего в Московской Мариинской больнице, родился сын. Ничего выдающегося в этом для врача, ютившегося в маленькой казенной квартирке, не было. Но для родной нашей литературы это было большим событием, так как фамилия врача была Достоевский, а сына его звали Федором, которому суждено было сделаться краскою, гордостью русской словесности, писателем, пользующимся самой широкой известностью не только в отчизне, но и далеко за ее пределами. У нас едва ли найдется такой уголок, где бы, среди сколько нибудь образованного люда, Достоевский не считался самым популярным писателем, после Гоголя, самым распространенным.

У меня с именем этого необыкновенно проникновенного сердцеведа связаны самые отрадные впечатления и воспоминания. В Петербурге я очутился около шестидесяти лет назад и тогда же впервые видал Достоевского и познакомился с ним. Когда я приехал в столицу, А. С. Афанасьев-Чужбинский, известный беллетрист, путешественник и журналист, поощрявший мои зеленые литературные опыты, знакомый моего отца, хлопотал добыть мне работу. Он дал мне несколько рекомендательных писем к разным редакторам и одно из них к Достоевскому, сообщив, что брат Федора Михайловича, Михаил Михайлович, затевает (дело было в 1860 г.) в следующем году ежемесячный журнал «Время» и что лучше обратиться к нему заранее. Я так и сделал. Не найдя его дома, я отправился в редакцию журнала «Свечеч», где сотрудничал Мих. Мих. Достоевский. Он-то и вышел ко мне, взял у меня письмо Чужбинского, внимательно выслушал мои пояснения о том, где я печатался и проч. Вернувшись от брата, М. М. сказал мне, что спешить нечего и что когда журнал начнет выходить, братья будут иметь в виду рекомендацию Чужбинского. Как раз в этот момент я увидал профиль Федора Михайловича, медленно проходившего мимо боковой двери в соседнюю комнату. Его бледное лицо бросилось мне в глаза, и тут же М. М. сказал мне, удаляясь:

— Это тот самый мой брат. Верно, у него начнется припадок... Он страдает падучей... Мы уже привыкли предугадывать приближение припадка.

От А. П. Милюкова, фактического ред. «Свечеч», давшего мне маленькую работу, я узнал подробности о болезни Федора Михайловича, последствия отбывания им каторги.

— Хорошо, что он выслал к вам брата, а не вышел сам, — сказал мне Милюков, — а то он бывает страшнораздражителен, когда чувствует приближение припадка... Пожалуй, на лугал бы вас. Эта болезнь часто отнимает у него память... Думаю, что он забудет о данном вам, через брата, обещании!

Предположение Милюкова сбылось, когда я, почти через год, шел с бьющимся сердцем от волнения, от предстоявшего мне свидания с творцом «Бедных Людей». К этому дню журнала «Время» вышло уже несколько книжек, и Достоевский печатал в них свои «Записки из мертвого дома» и роман «Униженные и оскорбленные». В редакции из знакомых писателей я встретил Алексея Егоровича Разина, замечательного педагога, блестящего детского писателя, издававшего вместе с М. Б. Чистяковым «Журнал для детей» — прекрасное пособие для самообразования. Разин был другом народа, но не слепым другом, и, вообще, любил людей до самопожертвования, представляя собою чистокровного идеалиста. Лично мне он сделал массу добра, всегда спешил мне на помощь. Встретил я здесь и другого знакомого, Всеволода Крестовского, талантливого, с пылким воображением поэта, отчаянного бабника, кутилу, тогда еще не дописавшегося до позорных романов, вроде «Панургова стада», весельчака, юмориста по натуре, товарища Писарева по университету. Из других лиц, мне известных, но незнакомых, здесь присутствовали: Николай Николаев. Страхов, философ, «почвенник», года через два напечатавший во «Времени» статью «Роковой вопрос», по

поводу польского восстания, повлекшую за собой прекращение журнала, воскресшего затем под названием «Эпоха». Страхов, человек необычайно уравновешенный, благодушный, рыный эстетик, близкий друг Достоевского, был душою «Времени» и работал для него, как вол. Потом были: поэт Майков, названный Апухтиным «флюгером», молодой поэт Федор Берг, цинично зазывавший к себе мальчишкорчивший из себя народолюбец, борца за свободу, носивший красную рубаху, позднее ярый черносотенец; Николай Курочкин, родной брат переводчика Беранже, доктор, радикал втайне, тоже равнодушный к мальчуганам; поэт Платон Кусков, переводчик Шекспира, мало у нас оцененный богоискатель, вполне оправдывавший свое имя по отношению к женщинам, и много других тружеников печати.

— Не волнуйтесь и, главное, не робейте, — говорил мне Разин. — Вон из этой двери выйдет Федор Михайлович. В случае надобности, приду к вам на подмогу... Не смотрите ему в лицо, говорите медленно и возможно короче...

Вскоре Достоевский вышел в приемную. Немного выше среднего роста, он казался еще ниже, благодаря тому, что горбился и как то приседал, словно волоча ноги. Он смотрел старше своих сорока лет; лицо с желтизной выражало не то уныние, не то равнодушие; он своим острым и пронизательным взглядом как-будто углублялся вдаль, уносился куда-то в пространство и, казалось, почти не отдавал себе отчета, где он находится в данный момент. Порою мне представлялось, словно он хочет налететь на кого-то, но, спохватившись, сразу замедляет шаги. Мрачная складка выступала у него между бровей, густых, взъерошенных, потом пряталась и выступала снова, губы очень нервно подергивались. Его глаза, вероятно, случайно, остановились вдруг на мне. С большим трудом мог я выносить его испытующий, можно сказать, пронизывающий насквозь взгляд темневших и нежданно вспыхивавших глаз. Меня брала просто жуть, но я, не помня себя, быстро подошел к Федору Михайловичу и протянул ему рукопись.

— Это что? — вежливо, но строго спросил меня Достоевский. — Статья, рассказ, стихи, целая поэма?... Не надо! Не надо! У нас гибель всего этого! Довольно!

— Я принес перевод с французского... Из Амедея Ашара... C'est un fecond romancier francais, auteur de „Belle-Rose“, „La Cape et l'Épée“, „Une femme-Serpente“, — выпалила я скороговоркой. Снова отказ, — Достоевский отвернулся от меня. Но Разин пришел ко мне на помощь: поймав писателя, он горячо что-то стал ему доказывать. Достоевский вернулся ко мне, снова пронизав меня взглядом, взял мою рукопись, вдруг, к моему конфузу, поглядел меня по голове и совсем мягко, на ходу, бросил мне: «Придите через два дня!». Когда я пришел в указанное время, Достоевский пригласил меня в кабинет, сказал, что Разин много говорил ему обо мне, участливо расспрашивал о моем положении, надеждах, интересовался жизнью на юге. Скажу откровенно, многими вопросами он прямо пытал меня, словно стараясь проникнуть в самую глубь моей души. А потом он изумил меня вопросом, как звали девушку из его повести «Нечеткая Незванова». Я ответил — Леля. — Я оттого спрашиваю вас, — пояснил он мне, — что, вследствие моей болезни, стал забывчив... Иногда ничего не помню из прошлого, кроме каторги... Лет через пятнадцать, в одном из своих писем, он подтвердил мне это, извиняясь, что в данное время не может исполнить своего обещания — написать свою подробную биографию. «Вследствие падучей моей болезни, которая, впрочем, почти уже меня не беспокоит, — писал мне Достоевский в апреле 1876 года, — я отчасти потерял память и верите ли — забыл (буквально забыл, без малейшего преувеличения) сюжеты моих романов или выводимые в них, даже „Преступление и Наказание“. Тем не менее общую-то связь жизни моей помню».

С этого времени и началось мое знакомство с Достоевским, пригласившим меня посещать его на дому. Беседы его бывали не только интересны, но просто увлекательны.

Однажды Ф. М. рассказал мне, что часто видел во сне, как на яву, героев своих произведений, сцены их. Один из снов навел его на мысль написать роман „Подросток“. Жаловался, что его *не так* понимают, как бы он этого хотел, что он видит насквозь душу людей, с которыми даже не часто видится. В редкой беседе он не спрашивал меня—достаточно ли я думаю о Боге и что думаю, стыжусь ли откровенно признаваться Творцу, что я полон сомнений.

Я не знаю никого из писателей, кроме Достоевского, который так широко понимал бы чувство красоты и ее значение. Когда он говорил о нем, глаза его воспламенялись, ноздри раздувались и дыхание спиралось в его груди. Почти наивно признавался он, что, в ранней молодости был „совсем красив и оттого считал себя безмерно счастливым“.

Особенно отрадны были мне беседы Достоевского, когда, по его приглашению, я посещал его в Старой Руссе, где мы гуляли в старом саду, примыкавшем к его дому. Памятен мне один вечер в этом саду, озаренный луною. Стояла редкая тишина. Мы набрали на гнездо какой-то ночной птицы, вероятно, филина. Неожиданно раздался отчаянный крик около дупла этой птицы. Он страшно взволновал Федора Михайловича.

— „Не хорошее предзнаменование!“—воскликнул он, слегка задыхаясь, и долго не мог успокоиться. Пришлось дать ему успокоительных капель. Позднее, когда его сильно мучила энфизема, он вдруг вспоминал об этом вечере и крике „вещей птицы“, как он называл ее. Достоевский был безусловно суверен и не тайл этого от Страхова и других очень близких ему людей; от остальных своих знакомых он скрывал это. Когда мне дозволено было, после моей административной (второй по счету) высылки, вернуться в Петроград, я, приехав, известил Федора Михайловича об этом счастье и просил его назначить мне день для свидания с ним. Мне пламенно хотелось покончить с вопросом относительно обещанной мне Достоевским его биографии, о которой он еще в 1876 году писал мне в деревню, между прочим, следующее: „Летом, в июне, я, вероятно, буду в Эмсе, где буду лечить мою грудь и там составлю вам мою биографию,—и такую, какой еще нигде не бывало, хотя и не Бог знает, какую длинную (в 1/2 листа печатных), напишу по своему, так, как не пишут биографий литераторов в лексиконах. С этим материалом и сделайте, что вам угодно...“

Но прошло много дней, а биографии у меня не было. Наконец, я получил ее через два-три дня после того, когда я известил Достоевского о своем возвращении в столицу, с просьбой назначить мне день свидания. Неожиданно дорогой гость, вместо ответа, явился ко мне сам лично. Он смотрел совсем стариком, еще больше согбенным. Желтизна лица, обрюзгшего, изборожденного морщинами, потухающие глаза не предвещали ничего хорошего.

— Ну, вот, я могу заглазить мою вину перед вами,—заговорил с одышкой Достоевский,—я принес кое-что. Остальное передам устно, как могу, как сумею.—И я стал записывать его рассказ, отрывистый, но очень оригинальный. Между прочим, я узнал, что Ф. М. одно время печатал свои фелетоны из общественной жизни в таком издании, о котором никто не догадается, и что они не вошли и не войдут в собрания его сочинений, также, как критические его статьи в журнале „Время“, от которых он отрекается навсегда“. Впрочем, он писал мне об этом отречении и раньше.

— Это далеко не все, что я рассказал вам... Когда-нибудь непременно закончу... Живу от вас близко... Заходите!—сказал Достоевский и распрощался со мною... навсегда, года через два уйдя из этого мира.

Нужно ли говорить, какая несметная толпа сопровождала проникновенного сердцеведа в его последнее жилище! Мне припоминается только одно подобное многолюдное погребение, когда хоронили знаменитого артиста Мартынова.

В беглой заметке мне пришлось рассказать о Достоевском лишь кое-что из того, что подсказала мне память на скорую руку. А многое еще можно было бы вспомнить об этой удивительно яркой личности, цельной, своеобразной, такой, какие являются только веками.

Петр Быков.

## Достоевский о Пушкине.

(Из собраний Пушкинского Дома).

В числе последних приобретений 1920 года в Пушкинский Дом поступила подлинная рукопись Ф. М. Достоевского на двух листах, с приписками на обороте первого листа, на полях, отрывочных, часто не оконченных фраз (они помещаются нами в примечаниях). Рукопись эта является, повидимому, первоначальным черновым наброском знаменитой речи Достоевского, произнесенной им в Москве 8 июня 1880 года во время открытия памятника Пушкину; однако, сходство между рукописью и речью в ее печатной редакции можно найти лишь в разборе «Евгения Онегина», где помещена даже одна и та же цитата; это последнее обстоятельство свидетельствует, что рукопись не является отрывком, исключенным из речи, а впоследствии переработанным наброском ее. Сравнения же Онегина с Чацким в речи нет, так же, как и разбора стихотворения «Чернь», которому в этой рукописи отведено много места. Эти мысли, не получившие развития в окончательной редакции речи, представляют, несомненно, большую ценность; мы приводим поэтому полный текст рукописи, сохраняя ее орфографию и заключая в прямые скобки зачеркнутые слова:

«Памятник Пушкину воздвигнуть, и мы празднуем день справедливого воздаяния отъ земли Русской и отъ общества Русскаго величайшему изъ Русскихъ поэтовъ. А между тѣмъ еще такъ недавно, да и теперь, конечно, существуетъ и ходитъ множество мнѣній, перешедшихъ въ убѣжденіе, объ ограниченности Пушкина, объ ограниченности его гражданскихъ воззрѣній, нравственнаго развитія, подозрѣвають въ душѣ его осадокъ крѣпостничества. Признаютъ за нимъ - это то уже почти всѣ—значеніе величайшаго художника, но въ чрезвычайномъ умѣ Пушкина и въ высокомъ нравственномъ развитіи его весьма и весьма еще многіе сомнѣваются. Не останавливаетъ и соображеніе, что великій поэтъ нашъ былъ [въ] тоже однимъ изъ образованнѣйшихъ людей нашего времени. По сочиненіямъ его видимъ, что ему близко знакома была всемірная литература, что онъ прочелъ очень много, что онъ интересовался такими книгами изъ европейскіхъ литературъ, которыя совсѣмъ почти и неизвѣстны были кому-нибудь изъ русскихъ его эпохи. Что же до сомнѣнія въ умѣ его, то сомнѣвающихся не оста[но]вилъ даже, напри- мѣръ, хоть образъ Онегина, воплотившаго въ себѣ тоску наивысше развитаго русскаго челоѣка своего времени. Не одну только безсознательно художественною силою создалъ этотъ сильный глубокой образъ и типъ, но и совершенно сознательнымъ и осмысленнымъ вниманіемъ въ появленіе его между нами. Пушкинъ объясняетъ его самъ отъ себя лично, какъ авторъ, судить его сознательно во многихъ строфахъ своего безсмертнаго романа, заставляетъ и героиню свою, Татьяну, догадаться о немъ и сознать его хоть отчасти, спросить себя:

Уж не пародия-ли онъ?

Это не типъ Чацкаго, столь сбивчивый, столь самоуверенный, бранящій Москву и французскій языкъ, бранящій фраки, кричащій что намъ надо занять хоть у китайцевъ.

Премудраго у нихъ незнанья иноземцевъ, и между тѣмъ бѣгушій изъ Россіи за границу. Если бь сознательно нарисовалъ его такимъ безсмертнѣмъ поэтѣмъ, то вышелъ бы и типъ безсмертнѣмъ и правдивый. Но Грибоѣдовъ самъ взглянулъ на свой типъ не отрицательно, а положительно, и самъ увѣровалъ въ „ум“ своего героя, и вышла — сбивчивость. Не таковъ Онѣгинъ: это типъ твердый, глубоко осмысленный, это истинное изображение страдающаго, оторваннаго отъ русской почвы, интеллигентнаго русскаго человѣка, живущаго на родинѣ какъ бы не у себя, желающаго стать чѣмъ нибудь и не могущаго быть самимъ собой. Повторяю, Пушкинъ глубоко сознательно создалъ этотъ типъ — и Пушкина-ли не считать умнѣйшимъ и глубочайшимъ русскимъ человѣкомъ своего времени, хотя бы за этотъ только имъ созданный типъ.

Не понимать такой простой мысли, что народу надобно ѣсть, и надобно прежде всего: тутъ ждуть хлѣба дѣти, которымъ уже никакого нѣтъ дѣла до истукана или до стиховъ поэта Пушкина. Какъ могло придти в голову, что Пушкинъ могъ сердиться на народъ за то, что он не любитъ его стихами или Аполлономъ Бельведерскимъ прежде, чемъ съѣсть что нибудь изъ своего горшка! Конечно тутъ горшокъ дороже — и Пушкину ли это не знать. И не смѣшная ли идея, что укоряетъ онъ за горшокъ бѣдняковъ, мужиковъ, т. е. настоящій народъ, и называетъ ихъ за это чернью. Да они и не знали можетъ быть, что Пушкинъ существуетъ. Да и они и читать неумѣютъ! Нелѣпость обвиненія однако же не остановила его \*).

Не ту чернь разумѣлъ Пушкинъ — и это очевидно, — не дуракъ же онъ былъ совсѣмъ, не мальчикъ пятилѣтнѣй! Он разумѣлъ «свѣтскую чернь» и еще тѣхъ, которыхъ онъ укорилъ словами: «тебѣ бы пользы все!» и это главный стихъ въ стихотвореніи: изъ свѣтской черни и изъ богачей толстосумовъ есть очень многіе и были и при Пушкинѣ, которые готовы были бы покупать истукановъ, Аполлоновъ Бельведерскихъ, тратить на нихъ даже большія деньги и ставить ихъ не то, что на своей лѣстницѣ, но даже въ хоромахъ своихъ, въ залѣ или въ кабинетѣ. И уже не безпокойтесь — такъ отлично знаютъ, что рыночная цѣна истукану гораздо дороже горшка, равна, можетъ быть, десяти тысячамъ горшкамъ.

Но однако же сомнѣваются, приписываютъ ему несвойственное, толкуютъ объ немъ до комичнаго ошибочно. Одинъ

\*) Далѣе въ рукописи 9 отдельныхъ набросковъ справа на полѣ: Скажутъ, что Пушкинъ коритъ не народъ, а бѣдныхъ чиновниковъ, разночинцевъ, однимъ словомъ, всѣхъ тѣхъ, которымъ такъ важенъ печной горшокъ, но развѣ это ни все равно что народъ?..

Тѣхъ же, изъ разночинцевъ (котор) не столь нуждаются въ горшкѣ и (неразб.) ничего нѣтъ дурнаго укорить за материализмъ привычекъ, за плотоядность инстинктовъ, за животность желаній, за жажду отличій, те дѣйствительно смотрятъ на искусство, какъ на игрушку, но въ такомъ случаѣ печной горшокъ обращается уже въ чинъ, в чернь же Пушкинъ корилъ бы ту же необразованность.

(Но не на это, очевидно, не на это, напротивъ Пушкинъ столько силы и энергіи въ своемъ безсмертнѣмъ и глубокомъ стихотвореніи...).

Но есть и еще чернь толстодумъ невѣжественная чернь.

Пищу варить, пищу самолюбія упиваться (гордостью), — тутъ сравненіе съ горшкомъ народнымъ лишь для силы выраженія.

Также точно какъ чернью, „народомъ“ названы непосвященные, т. е. свѣтская чернь, грубые толстосумы.

По крайней мѣрѣ, тѣ, которые умѣютъ читать стихи и знаютъ, что такое стихи. (неразб.) Пушкинъ не на нихъ истратилъ столько энергіи и силъ.

Но и не это одно не толстосумовъ, тутъ глубокий вопросъ ѣ искусства.

Чернь образованности. Чернь (неразб.).

изъ извѣстнѣйшихъ современныхъ русскихъ писателей свидѣтельствуемъ, что онъ видѣлъ Бѣлинскаго съ комическою яростію напавшаго на «отсутствующаго», какъ выразился этотъ писатель, Пушкина за его два стиха въ «Поэтъ и Чернь».

Печной горшокъ тебѣ дороже, —  
Ты пишу въ немъ себѣ варишь!

«И конечно, — твердилъ Бѣлинскій, — (продолжаетъ писатель), сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ; конечно дороже. Я не для себя одного, а для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пишу варю — и прежде, чѣмъ любоваться красотой истукана — будь онъ распрофидіасовскій Аполлонъ, — мое право, моя обязанность накормить своихъ — и себя, на зло всякимъ негодующимъ баричамъ и виршенлетамъ!» И ужъ если такой человѣкъ, какъ Бѣлинскій, написавшій (по крайней мѣрѣ доселѣ) всѣхъ болѣе и всѣхъ лучше о Пушкинѣ, разъяснившій намъ его значеніе во многомъ весьма удовлетворительно, — если Бѣлинскій, повторяю я, назвалъ Пушкина бариномъ и виршенлетомъ за грубую будто бы ошибку великаго поэта въ гражданскомъ и нравственномъ возрѣніи его на искусство, то ужъ сколько должно быть было отъ другихъ, низшихъ, чѣмъ Бѣлинскій, когда идея попала на улицу, — осмѣяній, хуленій, осужденій, ругательствъ надъ низкимъ уровнемъ мировоззренія поэта, за его «гражданскую несамостоятельность», за «крѣпостническую неразвитость!» А между тѣмъ какая комическая ошибка! Какое смѣшное и грубое заключеніе! Вообразить только, что такого великаго ума человѣкъ, какъ Пушкинъ, станетъ кричать со своего возвышенія народу (т. е. простецамъ, мужикамъ) и укорять ихъ за то, что имъ ихъ печной горшокъ дороже истукана, требовать отъ нихъ пониманія искусства, бранить мужика, мѣщанина — или кого еще: ну положимъ даже чиновника его, Станціоннаго смотрителя, котораго такъ симпатично и задумчиво создалъ Пушкинъ, — бранить ихъ за то, что они прежде, чѣмъ восхищаться «красотой истукана», — стараются накормить изъ печного горшка ихъ голодныхъ семействъ! «Я для другого бѣдняка в немъ пишу варю!» — восклицаетъ Бѣлинскій, — этотъ излишекъ добродѣтельнаго обличенія не для красоты и только слога вставленъ, а очевидно изъ подозрѣнія, что Пушкинъ и нравственно былъ такъ низко развитъ, что не понималъ, что бѣдняка, безо всякаго сомнѣнія, надо накормить прежде, чѣмъ любоваться истуканомъ.

Если-бъ не подозрѣвалъ Бѣлинскій нравственной несостоятельности въ этомъ случаѣ Пушкина, то нечего бы было бѣгать ему изъ угла въ уголъ, какъ повѣствуетъ свидѣтель. И такая глупость, такое нравственное ничтожество, приписывается однако же Пушкину! А между тѣмъ какой вздоръ!

Еще въ Евангеліи сказано, — чего Пушкинъ конечно не могъ не знать, — самимъ Христомъ: „Не однимъ хлѣбомъ будетъ живъ человѣкъ“ — Значитъ наравнѣ с духовной жизнью признано за человѣкомъ полное право ѣсть и хлѣбъ земной. Какъ могъ Пушкинъ не знать и...»

На этомъ словѣ рукопись Достоевскаго прерывается, — и ходъ дальнейшихъ мыслей писателя остается неразрешимую загадкою.

Сообщила В. Б. Врасная.

## Встречи с Ф. М. Достоевским.

Наступленіе 40-й годовщины смерти Федора Михайловича Достоевскаго невольно вызываетъ на воспоминанія о немъ. Пределы небольшой журнальной статьи, конечно, не даютъ возможности говорить о тяжелыхъ и скорбныхъ страницахъ его многострадальной в физическомъ и душевномъ отношеніи жизни; говорить объ испытаніяхъ, заставившихъ его такъ глубоко вникнуть в большую, мятущуюся и надломленную душу человека, в которомъ онъ сквозь отталкивающее обличье порока и паденія умелъ подметить „искру Божию“ и увидать в немъ несчастнаго брата; не даютъ возможности и оценивать его удивительные произведенія с психологической и, во многихъ случаяхъ, с научной точки зренія. Каждый романъ

его представляет богатый и разнообразный материал, которого хватило бы на несколько отдельных, вполне самостоятельных произведений, возбуждающих коренные вопросы человеческого общежития. Достаточно в этом отношении припомнить „Преступление и Наказание“, „Мертвый Дом“ и „Бесов“, не говоря уже о мелких его произведениях, как, например, „Вечный Муж“, до сих пор недостаточно оцененных критикой. Желая дать обоснованный взгляд на его творчество, необходимо коснуться и общественных условий, среди которых оно возникло и протекло, языка, которым они написаны, и этики религиозных убеждений автора. Недостаточно сказать, что у него был, по выражению Михайловского, „жестокый талант“, но надо показать, как в проявлениях этого таланта сквозит деятельная любовь к людям и к родине, без недостоверной чувствительности, преувеличения или замалчивания отрицательных явлений.

Поэтому, отказываясь на время от попытки выполнить такую задачу, мне хочется припомнить личные встречи с Достоевским, давшие мне возможность видеть, как горячо относился он к людям, постигнутым несчастьем, и как он не жалел сил и времени для хлопот об облегчении их тяжелого положения. Но прежде всего, невольно приходит на память первое непосредственное свидание с ним не при мимоветной встрече где-нибудь в обществе.

В первой половине 70-х годов Достоевский был редактором „Гражданина“, еще не имевшего того вредного и бесстыдного характера, какой ему придал впоследствии князь Мещерский, и в котором слышалась отрывка крепостного права и стремления вернуться к нему, если не прямо, то с заднего крыльца.

По закону о печати известия о путешествиях государя, об его въезде в столицу и выезде из нее могли быть печатаемы не иначе, как с разрешения министра Двора. Нарушение этого правила, чем бы оно ни вызывалось, влекло для редактора арест. Достоевский напечатал краткое известие такого рода, был привлечен главным управлением по делам печати к ответственности и приговорен Окружным Судом, сколько помнится, к двум неделям ареста на гауптвахте. Приговор вошел в законную силу и был обращен ко мне, как к прокурору Окружного Суда, для исполнения, т. е. для сообщения градоначальнику распоряжения о заключении Достоевского. Узнав от одной своей знакомой, что состояние здоровья Достоевского, предпринятое им лечение и разные обстоятельства личного характера делают для него крайне неудобным немедленное лишение свободы, я просил ее сообщить Федору Михайловичу, что приговор будет обращен к исполнению лишь тогда, когда он сам найдет это для себя удобным. Через несколько дней я получил от него письмо следующего содержания:

„М. Г. Анатолий Федорович, позвольте от души поблагодарить Вас, во-первых, за отмену распоряжения о моем аресте и, во-вторых, за добрые обо мне слова в письме Вашем к многуважаемой и добрейшей госпоже К. Но Вам, вероятно, надо точнее звать о том, когда я буду в состоянии исполнить требование закона. В настоящее время я, к оме всего, езжу ежедневно лечиться сжатым воздухом, но полагаю, что к марту, может быть, кончу лечение. Поэтому, если это не станет вразрез с Вашими соображениями, я кажется совершенно (и во всяком случае) буду готов исполнить приговор в еамых первых числах марта. Впрочем, если почему-либо надо будет и ранее, то я без сомнения всегда *готов*. Итого слышком доволью, что я теперь на этот месяц избавлен Вашим старанием, за что еще раз позвольте отблагодарить Вас. Примите и т. д.“

Ф. Достоевский.

Вслед за этим письмом Достоевский посетил меня и подарил меня довольно долгой беседой, интересуясь судом присяжных и той разницей, которая существовала в оценке преступления со стороны городских и уездных присяжных. В бытность мою затем у него я мог убедиться, в какой скромной, чтобы не сказать бедной, обстановке жил и писал человек такого поразительного по объему и глубине таланта. В конце марта он уведомил меня, что готов быть лишен свободы, согласно приговору, который лежал без исполнения в столе моего прокурорского кабинета. Должен сознаться, что он там и остался лежать, никогда не будучи обращен к исполнению...

Прошло года три. В Петербургском Окружном Суде случилось дело крестьянки Екатерины Корниловой. Она была беременна на четвертом месяце и ее раздражал своими упреками муж, находивший, что его первая жена гораздо более заботилась по хозяйству и не делала казавшихся ему чрезмерными на это затрат. Однажды, выведенная из себя его упреками и попреками, она в припадке слепого гнева схватила полавшуюся ей под руку свою шестилетнюю падчерицу и выбросила ее из окна четвертого этажа. Девочка, однако, осталась жива и даже не потерпела ущерба здоровью, а отделалась лишь страшным испугом. Никто не возбуждал сомнения ни при следствии, ни на суде в умственных способностях подсудимой, и она была приговорена к каторжным работам.

Чуткое сердце Достоевского отнеслось к этому делу, с которым он познакомился из газетных отчетов, особенно горячо, и он посвятил ему красноречивые строки в „Дневнике Писателя“. В них он, убежденный в том, что Корнилова в момент совершения своего деяния была „не в своем уме“, трогательно описывал вполне вероятную сцену предстоящего расставания пострадавшей девочки, ее отца с женой последнего, отправляющейся с новорожденным младенцем в Сибирь. В строках, выдававших овладевшее им волнение, он восклицал: „Неужели нельзя смягчить этот приговор? Неужели никак нельзя? Право, тут могла быть ошибка!“. Ф. М. пожелал видется со мною—тогда вице-директором департамента министерства юстиции—и поразил меня не только изучением всех подробностей дела и психологическим анализом личности осужденной, но и богатством собранных им медицинских сведений о ненормальностях в душевных движениях и порывах беременных. В его словах сказывалось большое знакомство с природой русского человека, возвышенный и вместе трезвый взгляд на задачу суда и „святое беспокойство“ о страданиях невинной в своей невменяемости женщины. Его слова и взгляды были так убедительны, что я обещал ему полное содействие, и в министерстве был затововлен проект доклада о помиловании Корниловой, если бы приговор присяжных был оставлен кассационным сенатом в силе. Но давать ход этому проекту не пришлось, так как решение присяжных и приговор суда были отменены, и при вторичном рассмотрении дела, когда судом были вызваны эксперты по душевным и женским болезням, нарисовавшие яркую картину болезненных душевных состояний и взрывов слепого гнева, вызываемых иногда беременностью, Корнилова была оправдана.

Замечательно, что через двадцать лет Л. Н. Толстой в своем романе „Воскресенье“ в уста крестьянина, сопровождающего в Сибирь свою жену, осужденную за покушение на отравление его, влагает глубоко трогательный рассказ о душевном состоянии этой женщины, „присмолившейся“ впоследствии к мужу.

Строки, которыми Достоевский приветствовал оправдание Корниловой в своем „Дневнике Писателя“, дышат самой горячей, захватывающей радостью и справедливой гордостью человека, одиноко поднявшего голос против совершившейся ошибки.

Три рода больных, в широком и в техническом смысле слова, представляет жизнь, в виде больных волею, больных рассудком, больных, если можно так выразиться, от неудовлетворенного духовного голода. О каждом из таких больных Достоевский сказал свое человеческое, веское слово в высокохудожественных образах. Едва ли найдется много научных изображений душевных расстройств, которые могли бы затмить их глубоко верные картины, рассыпанные в таком множестве в его сочинениях. В особенности разработаны им отдельные проявления элементарных расстройств психической области—галлюцинации и иллюзии. Стоит припомнить галлюцинации Раскольникова после убийства властелицы или мучительные иллюзии Свидригайлова в холдной комнате грязного трактира в парке. Провидение художника и великая сила творчества Достоевского создали картины, столь подтверждаемые научными наблюдениями, что

вероятно, ни один психиатр не отказался бы подписать под ними свое имя, вместо имени поэта скорбных сторон человеческой жизни.

В конце 70-х годов Достоевский, несмотря на замалчивания его произведений критикой или крайне односторонние о них отзывы, приобрел обширное влияние на молодежь и на всякого рода «униженных и оскорбленных», без малодушной лести первой и без сентиментальной потачки тому дурному, что иногда встречалось во вторых. К чему, как впоследствии к Л. Н. Толстому, шли за нравственной помощью, за советом и утешением, — ему поверяли сомнения и терзания, ему открывали омраченную или смущенную душу. К нему за советом и содействием обратилась в декабре 1876-го года добрая и отзывчивая на людское горе женщина (Г. А. Бергеман) и нарисовала ему мрачную картину семейной жизни отставного солдата, вынудившего свою жену бросить семью, потому что «жить стало не в моготу». Он удержал при себе одиннадцатилетнюю дочь и — пьяный и развратный — посылал ее просить милостыню поджидая жатвы в ближайшем кабаке и нещадно колотя голодного и иззябшего ребенка, если принесенного оказывалось для надлежащей выпивки мало. Обесчестив, по словам жены, свою старшую внебрачную дочь, он хвастался и грозился, что сделает то же и с младшей, когда она «поспеет». Тогда не существовало еще общества для защиты детей от жестокого обращения, и взволнованный этим рассказом Достоевский пришел ко мне за указаниями, к кому обратиться и как поступить для спасения несчастного ребенка от гибели. Он произвел нечто вроде подробного дознания, подтвердившего рассказ матери девочки, потратив на это немало времени и труда. Пришлось войти в сношения с градоначальником и прокурором, который пригрозил пьяному мучителю и развратителю возбуждением против него уголовного преследования, и русская «Ганнеле» была, наконец, освобождена и помещена для укрепления здоровья в Елизаветинскую детскую больницу, где ее посещал Достоевский, а после того в детский приют.

Нежная любовь к «малым сим», глубокое понимание детской души и отзывчивость на ее запросы представились мне с осязательной очевидностью в колонии для малолетних преступников, устроенной за Охтой, по дороге на Пороховые заводы.

Достоевский желал, чтобы я свез его туда и внимательно приглядывался и прислушивался ко всему, расспрашивая о мельчайших подробностях быта питомцев. Обойдя колонию, он собрал вокруг себя всю молодежь и начал беседу с ней, которая, после ответов на то пытливые, то наивные вопросы с ее стороны, обратилась в содержательное и трогательное поучение. Впечатление, им произведенное, было очень большое. Лица многих, уже хлебнувших городской отравы, стали серьезными и утратили напускное выражение насмешки и молодечества. Глаза многих затуманились. Чувствовалось, что между автором скорбных сказаний о жизни и ее юными несчастными жертвами установилась душевная связь и что почуяли в нем не любопытствующего только, но и скорбящего друга. Перед отъездом колонисты провожали Достоевского шумно и доверчиво, наперерыв стараясь еще поговорить с ним, и настойчиво прося посетить их вновь. Дорогой он, после сосредоточенного молчания, сказал мне тоном мягкого упрека по адресу организаторов и распорядителей колонии.

— Не нравится мне ихняя церковь: точно музей какой-то! К чему это обилие образов. Для того, чтобы подействовать на душу, нужно несколько изображений, но строгих и даже суровых, как строга должна быть вера и суров долг христианина, — да и напоминать они должны мальчику, попавшему в столичный омут, далекую деревню, где он был в свое время чист и где иконостас не искусного, но верного преданию письма. А тут все какая-то расфранченная италяница. Да и еще не нравится — эта искусственная и непонятная детям из народа манера говорить им «вы» — оно, быть может, по нашему, по господскому, и вежливее, но холоднее, гораздо холоднее. Вот я им говорил всем *ты*, а как тепло и искрено они нас проводили. Чего им притво-

ряться? Да и непритворны они еще пока в добром и в злом.

Последний раз я виделся с Достоевским в Москве на празднествах по случаю открытия памятника Пушкину 6-го — 8-го июня 1880 года. Его речь о русском «Все-человеке» произвела потрясающее впечатление на многочисленную публику, наэлектризовала ее до крайней степени и вызвала неподдающуюся описанию овацию оратору. Мне приходилось слышать довольно много выдающихся речей с литературной, политической и судебной трибуны, но ничего выше этого по силе чувства и по вдохновенному исполнению я не могу припомнить. Тот восторг, которым она была встречена, очевидно, произвел на него доброе и бодрящее впечатление. Отражение последнего я видел в тот же вечер, присутствуя при выражении явного удовольствия, с которым он слушал восторженный отзыв об его речи профессора русской литературы в парижском университете Луи Леже, находившего сущность ее очень интересной «*pour le maître*», т.-е. для Виктора Гюго.

А через полгода с небольшим пришлось стоять с сокрушенным сердцем у его гроба...

А. Ф. Кони.

